

Александр Павлович Башуцкий

Петербургский день в 1723 году



Александр Башуцкий
Петербургский день в 1723 году

«Public Domain»

1834

Башуцкий А. П.

Петербургский день в 1723 году / А. П. Башуцкий — «Public Domain», 1834

«Солнце ярко горело на небе, но туман, едва отделившийся от сырой земли, перенимал желтые его лучи и еще задерживал острые верхи черепичных крыш. Коровы бродили около домов, громко мыча; они жадно ели свежую траву, пробивавшуюся по сторонам улиц, где не было мостовой; петухи смелым криком только что возвещали утро, а город, казалось, весь уже был жизнь и движение. Петербург в то время просыпался очень рано...»

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	12
-----------------------------------	----

Александр Павлович Башуцкий Петербургский день в 1723 году

Солнце ярко горело на небе, но туман, едва отделившийся от сырой земли, перенимал желтые его лучи и еще задерживал острые верхи черепичных крыш. Коровы бродили около домов, громко мыча; они жадно ели свежую траву, пробивавшуюся по сторонам улиц, где не было мостовой; петухи смелым криком только что возвещали утро, а город, казалось, весь уже был жизнь и движение. Петербург в то время просыпался очень рано.

Вниз по Неве плыли к Адмиралтейству от Смольного двора лодки, тяжело нагруженные бочками, снастями, лесом; в домах и дворах заметна была чрезвычайная хлопотливость; у богатых палат стояли огромные фигурные коляски, кареты, запряженные цугами разодетых в пеструю сбрую коней, или пышно оседланные лошади; в других местах, как ягодки, рисовались на зелени садов красные одноколки; из всех домов выходили люди разного звания и вида, кто в богатом, кто в бедном, но все в чистом наряде; одни спешили к церквам, другие к Неве, левый берег которой осыпан был народом; на самой реке множество судов разной величины беспрерывно стремились со всех сторон к крепости. Против австерии Меншикова отдельно стояли принадлежавшие вельможам буеры и шлюбки, убранные бархатом и тканьями ярких цветов, а в воздухе между тем гудел, не умолкая, оглушительный звон колоколов; в смутном шуме их два голоса, с двух противоположных концов города раздававшиеся, владычествовали и покрывали другие: один своими важными, громкими, мерными, как пушечные выстрелы, ударами; другой резким и пронзительным звуком, долго трепетавшим в пространстве. Народу, видно, особенно знакомы были эти голоса, ибо при каждом ударе в толпах слышалось какое-либо приветствие: «Славно!», «Ай да Иверский-Валдайский!», «Речист, родимой – словно гром» или «Не вырос еще бедняга Немец!» «Куда те, пискун свейской, тянуться за нашим русским богатырем», и т. п.¹ Около *Летнего дома* солдаты и служители дворцовые под распоряжением собственных государевых денщиков выметали в саду аллеи, ставили скамьи, покрывали длинные столы; словом, видно было, что город с утра готовился к празднику.

На берегу Фонтанной реки находился в то время в широком дворе барский дом, изукрашенный фигурными, тонкими колоннами на тощих базах. С шестиступенной наружной лестницы дома сошли два человека: один в зеленом чекмене с серебряными нашивками, в цветных сапогах казацких, алых шароварах и четырехугольной шапке, опушенной узеньким соболем; другой, мужчина среднего роста, худенький, с острым носиком, маленькими живыми глазами, в плаще пыльного цвета, из-под которого по временам выказывалось немецкое, или, как называли тогда, *саксонское* платье. Он перекрестился, надел низенькую треугольную шляпу и, صورتотив налево со двора, пошел с товарищем мимо *Форштата*, или *Русской слободы*, вдоль берега, который против домов укреплен уже был длинными сваями, в других же местах неровным, извилистым откосом спускался к реке. Дошел до первого моста, они взошли на оный. В это время где-то пробило шесть часов.

– Какова потеха! – сказал человек в чекмене. – Колокола воют так, что и часов я сосчитать не успел!

Человек в плаще, вынув огромные серебряные часы из камзола, показал их товарищу.

– Черт ли разберет это!

– Стыдно! Княжой конюший, а различить не можешь часов. Вот то-то, брат Ермолай Андреевич, я говорил тебе: ученье – свет, а неученье – тьма. Шесть било.

– Раненько же.

¹ Один из колоколов, в 800 пудов, привезен был из Иверско-Валдайского монастыря и повешен в Александро-Невском; второй, находившийся в Троицкой церкви, взят в Або.

– Для тунеядцев, как мы с тобою. А государь Великий часа три уже трудится для нас, недостойных. Нет ему праздника: народ гуляет, а он с трех часов утра за работой, да и спит-то одним глазом, дай ему Бог многие лета, – тут он снял шляпу и набожно перекрестился.

Так разговаривая, они взошли на длинную гать, проложенную через топкое пространство новой Невской *перспективы*, занимавшее почти всю средину между Мьей и Фонтанной рекою. За деревьями, посаженными на обеих сторонах улицы, местами стояли широкие, болотные лужи, между их навалены были груды булыжнику, песку, фашин, строевого лесу, глины и черепицы. Правая сторона *перспективы* была вовсе без строений; на левой и к сторонам рек о коих мы упомянули, подымались несколько домов и выказывались из земли фундаменты, да там и сям стояли разбросанные на пустом пространстве мазаночные избы. Рабочий народ, покидая занятия, спешил к Адмиралтейству.

– Взгляни, – сказал человек в плаще, – взгляни на это место: таким видел я весь Петербург! Вот, Ермолай Андреянович, что значит сила высокого разума и могучей воли! Знаешь ли, что со временем имеет быть на местах сих?

– Вонючее болото и кочки! Э! Что ты ни толкуй, ученый графский секретарь, а Питер ваш лужа лужею; богат, как говорили старики наши, *только слезами*. Народ морить да деньги губить на этом пустыре! То ли дело Москва белокаменная? Уж подлинно променяли вы кукушку на ястреба.

– Глаголы безумия, – сказал секретарь, пожимая плечами. – Прости им, Господи, не ведают бо, что...

– Да как же не говорить этого, Федорович, когда бояре и народ все то же поют и в Москве и по целой Руси?

– Все? Нет, не все, слава Богу! Дворянин ты, Ермолай Андреянович, благородный, сердцу больно. Ум имеешь зело изрядный, душу, способную на все хорошее... а тратишь молодые лета свои в темной жизни, пристойной точию одной черни.

– Какой чудак! Что ж худого в том, чтоб жить, как деды и отцы живали?

– Напротив, много в том хорошего, да все ли вы полно от отцов и дедов переняли? Разве водились они только с жеребцами, псами и кречетами? Не гневи Бога, знал я покойного Андреяна Никоновича: был человек полезный, понеже с достатком, умен и учен был для своего времени, а в наше и вящее смышление потребно. Не одни мы живем, дружище, на земле; не только то свету, что в окошке. Ну! Да оставим это, говорено было и будет еще с тобою о многом. Вспомни-ка лучше об невесте и размысли о своих обещаниях.

– Мне ли не помнить об ней! Она моя жизнь!

– То-то же, а хорошо ли, что и она, еще малоученая, как все наши барышни, может знаньем своим устыдить тебя, мужчину, на каждом слове? Любовь любовью, да и ум нужен про всякую пору; от него в семье хлеб и уваженье; а уваженье – трость, говорил покойный граф, любовь на нее опирается. Молодцев, как ты, найдется довольно; что же будет, если речи людские, речи жены твоей останутся для тебя китайскою грамотою? Стыд да и только: ни самому себе, ни другим от тебя не будет пользы. Верь, приятель, коли не станет уважать тебя жена, так не за что и любить ей такого мужа, каких сыщешь на каждой боярской конюшне!

– Ну добро, полно, Федорович, уж обещано, сказал я, что для Ольги сделаю все на свете, буду учиться с утра до ночи; знаю, что трудно...

– Где труд, там и польза! Его величество, – тут секретарь снова снял шляпу, – не только умом и духом, да и руками тяжело работал, более всякого раба своего. «Трудиться надлежит, – говорил он Ивану Ивановичу Неплюеву. – Я и царь ваш, а у меня на руках мозоли; все это для того, чтобы показать пример другим».

– Сказано, сказано! Буду трудиться, лишь бы Ольга любила меня, лишь бы я мог быть полезен родине, которую люблю, как Ольгу. За них, клянусь тебе, я готов положить живот. Потому-то и смущает меня все иноземное, ваши наряды, да вычуры, да ваши...

– Э! Дитя! Дитя глупенькое, прости мне слово! Да разве любить родину нельзя в длинном кафтане, без бороды, в парике? Разве Шереметев, Меншиков, Апраксин не лили за нее кровь, не били наголову тех, от которых переняли наряд свой, от которых научились многому и хорошему?

– Но коли все равно, так зачем же покидать житье наше старое и кафтан и бороду?

– Конечно, не нужно бы было для многих, а для многих зело потребно! Сказал бы тебе!.. Да... видишь... молод ты больно: борода и чекмень твой, Ермолай Андреянович, словно кляпыш, к которому ты пристегнут, как лихой кречет, крепко-накрепко; спусти с него птицу – полетит в поднебесье, подыметсЯ до солнца и взглянет на него, и увидит сверху, чего и не видала, сидя на кляпыше, и не устоит против его груди никакая пернатая, что, бывало, нахально ругалась, кружась над его головою. Имеяй уши слышати, да слышит. Вот до времени, а там собственною рефлексией поймешь более!

– Понимаю речи твои; готов на все. Желаю, хочу учиться, хочу, чтоб был во мне прок и польза, а бороды, кафтана не снимаю! Ей же богу не будет этого!

– Не говори, голова, будет!

– Ни! Вовеки!

– Будет, говорю я, и скоро!

– Э! Да что спорить! – отвечал Ермолай с сердцем. – Не сделаю этой глупости.

– Вот так-то? Мудрецы вы, мудрецы! Не тот глуп, Ермолаюшка, кому случится на веку сделать глупость, а глуп тот, кому глупость людская не придает ума.

Между тем они перешли за Мойку. Путь по улице, еще не застроенной и малообитаемой, был скучен по причине грязи; но тут стечение народа, возов с овощами, горшками, деревянною посудой и другими домашними потребностями, торопившихся к близлежащему рынку и опережавших друг друга, делали дорогу совершенно непроходимой. Пешеходы ежеминутно подвергались опасности быть опрокинутыми в тесноте. Монахи нового Александро-Невского монастыря, сопровождавшие архимандрита своего Феодосия Яновского, ехавшего в тяжелом рыдване, верхом на тощих лошаденках, подобрав на седла рясы, с криком пробивались сквозь серую толпу, почтительно снимавшую шапки, и вымещали без разбора на спинах, носивших кафтаны и армяки, неудовольствие свое ударами тяжелых нагаек. Это еще увеличивало беспорядок, крик и толкотню. Словом, у въезда на большой луг к Адмиралтейству народ так теснился, что два наши путешественника, замученные трудным переходом и решительно не имевшие возможности пробиться далее, решились остановиться для отдыха.

Это место было довольно безобразно. На нем возвышалось несколько изб. Странно, ибо пункт составлял средину двух заселенных и хорошо обстроенных частей Адмиралтейского острова, который со дня на день украшался, в то время как первенец его, Петербургский остров, если не пустел, то приобретал мало новых жителей. Вправо отсюда лежал путь мимо *Адмиралтейской крепости* к домам государевым: Зимнему и Летнему, к иноверческим киркам, рынку и барским палатам, а далее, за Фонтанной рекою к бывшей *Русской слободе* (Литейной части), многолюдной и хорошо обстроенной². Влево были расположены между Невою и Мьею слободы: Адмиралтейская и Немецкая с чистыми домами, ниже, между Мьею и ручьем, обратившимся впоследствии в канал, и даже по левому берегу Фонтанной речки, были разбросаны летние барские дома; наконец, прямо находились: Адмиралтейство, невский берег и перевоз на Васильевский и Петербургский острова.

Изобразив подробно положение пункта, на котором движение народа остановило двух наших пешеходов, мы спрашиваем читателя: почему на том прекрасном месте не выстроили дворца или барских палат, а поставили простые избы? Потому, что промышленная сметли-

² Она составляла треугольник, коего боками были: часть Фонтанки от нынешнего Аничкова моста до Невы, часть Невы от истока Фонтанки до Смольного двора и линия, которую можно было бы протянуть мысленно от сей точки до Аничкова моста.

вость в 1723 году была нисколько не глупее нынешней: она привела в известность все ряды жителей различных частей города, сообразила их взаимные отношения, исчислила пути, соединявшие слободы, помножила все эти данные летними жарами, осеннею сыростью, зимними морозами; приложила к произведению жажду, сродную каждому здоровому русскому или немецкому человеку, и результат показал ей ясно, что тут именно, а не в другом каком-либо месте, надлежало выстроить *кабаки*. Сообразительность нашего века вследствие подобной, но еще аккуратнейшей выкладки, поставила здесь трактиры, дома для приезжающих и магазины.

Под широким навесом одного, и самого обширного из кабаков пешеходы наши сели на деревянную скамью, приставленную к резным перилам, коими загорожены были промежутки четырех столбов с нарезками, похожих на столбики птичьих клеток и составлявших портик храма. Над низкою дверью избы, на стороне, обращенной к Адмиралтейству, висела черная доска, на которой красовался тощий двуглавый орел в железном круге. Он был намалеван столь отчетливо, что каждый посетитель мог сосчитать без труда все перья его крыльев, которыми он осенял белую на черной доске надпись: «Казенной питийной вольной дом».

Буквы надписи, казалось, только что вышли из дому, ими украшенного: они цеплялись в заманчивом беспорядке и, со своенравною дружбой обнимая одна другую позволяли зрителям предвкушать то блаженное положение, в котором многие из них должны были быть по выходе из сего храма радости.

Здесь был совершенный хаос: несмотря на ранний час дня двери ломились от посетителей. Довольно просторный дом Гурьяныча, отставного Преображенского унтер-офицера, вошедшего в права содержателя *питийной избы* за усердную службу по отобрании прав сих от жидов, которые сделали себе из одного монополия, кабак Гурьяныча, говорим мы без метафор, внутри был забит, а снаружи облеплен народом.

Купчины, адмиралтейские служители, люди в армяках, немецких платьях, длиннополых кафтанах, без бород и с бородами, чухны, плотники, денщики, бабы-стряпухи, со всех сторон проходившие мимо этого места для закупки на рынке жизненных припасов; все заходило или забегало в славную *вольную избу*, одни за тем, чтоб потолковать, другие, чтоб послушать, и все почти затем, чтоб продраться до обетованного поставца, где израненный герой Нейшанца и Полтавы Гурьяныч за медную деньгу наливал прихожанам большую чару зеленой амброзии, порой подслащивая приятную горечь вина ласковым словом, рассказом о любопытной старине или о важной новости, порой воздерживая огромным кулаком своим рьяное нетерпение горячих обожателей благодатного напитка.

Человек в плаще сел и, устремив на присутствовавших серенькие глаза, с особенным вниманием вслушивался в речи. Ермолай (так звали конюшего князя-кесаря Ромодановского) хотел было завернуть в избу, но, одумавшись, остался. Он поплевал на руку, вычистил ею полы чекменя, опустил шаровары, которые, для сохранения от грязи, были осторожно подобраны в голенища сапогов, потом погладил правой рукой усы, а левою несколько приподнимая богатую свою шапку, важно подошел к людям шумно толковавшим близ угла избы, и приветствовал разговаривавших следующей речью:

– Добрый день, честные люди!

– Добра и здоровья желаем! – отвечали ему.

Лице княжеского конюшего в пестрой и довольно грязной толпе, окружавшей кабак, было явлением чрезвычайно важным; шапки невольно снялись, сперва с тех, кто находился близ Ермолая и видел его, а после и с отдаленных людей, видевших только, что впереди их были головы без шапок; многие рты затворились из уважения.

– Что нового? Не к празднику ли изволите? – спросил Ермолай.

– Вестимо, милостивец, как не помолиться да не полюбоваться на великого государя императора? Дай Бог ему новорожденному здравствовать!

– Дай Бог! Да и новости, рассказывают, будут!

– Слышали мы, слышали! – раздалось в толпе. Одни кричали, что на Троицкой площади царь будет сам говорить речь и объявит о милостях народу. Другие утверждали, что приказано раздавать после обедни деньги; некоторые говорили, что в комендантском доме станут даром показывать нового зверя; третьи толковали о повелении, которым позволено всем носить по-прежнему бороды и кафтаны; словом, каждый объявлял свою весть, утверждая, что она справедливее прочих. Шум был общий, когда в толпе громко прохрипел чей-то голос: «Все это пустяки, а вот что верно: Питер уступают шведам, народ же гонят под Москву! Да и слава Богу. Давно бы пора!»

Все вдруг замолчали; какое-то недоумение выразилось на лицах; в это время здоровый гарнизонный капрал, растолкав стоявших около Ермолая, врезался в толпу.

– Питер уступают шведам? – спросил он твердо, покручивая ус и поглядывая кругом себя. – Чтоб отсох язык у бездельника, кто это выдумал! Не видать шведам Питера, как ушей своих, слышите ли! Питер шведам? Когда мы без мала не забрали всей их землишки, разбили все войско и чуть не полонили самого короля! Или мало, что ли, мы пролили крови? Или не мил уже государю Питер? Или не мил нам государь, что ли? А?

– Нам ли не любить Питера, Христос с вами, кавалер, – сказал, крестясь и поплеывая, купец с окладистой бородкою. – Наше место свято. Трудно было сначала в новом городе, зато, милостию Бога и государя, мы нажились и обжились в нем на прок и веселье. Нам ли не любить Питера: здесь в двадцать лет Бог даровал нам жен, детей и прибыток, и счастье, и славу. Кого не взыскал и не обласкал здесь государь наш милостивый? – продолжал купец, обращаясь к слушавшим его. – Он сам не раз крестил у меня.

– Он кушал у нас хлеба-соли, – закричали другие.

– И у нас, и у нас!.. Он выдал замуж мою дочь...

– ...Был на похоронах моего сына за службу его!

– ...Он изволил плясать на моей свадьбе!..

– Дай Бог ему, отцу нашему, здравствовать!

– Ношу бороду, – продолжал купец, – и по указу царя плачу за нее откуп, потому только, что седа борода моя, а как бы моложе был, выбрил бы, как выбрил ее сыновьям. За Питер лягу костями.

– Да кто же, – закричал капрал, – кто смел врать здесь этот вздор!

– Кто? Ну, известно, дурные. Забыли мы, видно, – сказал матрос, – речь, сказанную государем, как привели сюда Свейского пленного Шубинахта!

– Шубинахта? А что это, отец? – спросили с любопытством стоявшие возле.

– Мудрящие головы, и этого не смыслите! Так называют по-ихнему на флоте начальников.

– Так-с! И наш-то батюшка не так же ли на флоте-то величался?

– Ну, конечно, так, – подхватил Ермолай с громким хохотом. – Конечно, так. Было бы только немецкое имя, а уж по сердцу придется! Вишь вы бедные, совсем онемечились!

В толпе опять сделалось какое-то печальное молчание. Ермолаю не смели явно противоречить, ни делать замечаний. Многие, искоса посмотрев на него, отделились от конюшего, как люди, испуганные внезапным появлением змеи; другие напротив подошли к нему и в то время как флотский служитель с жаром рассказывал что-то отдельной толпе, в которой он сделался центром, к Ермолаю подошел человек, обритый, довольно неловко одетый в немецкое платье.

– Видна птица по полету, – сказал он, низко кланяясь. – Нетрудно и по одежде и по речам узнать, что ваша милость из дому князя-кесаря. Каков поп, таков и приход. То-то прямой русский боярин, братцы.

– Подлинно так, – повторили некоторые из близстоящих.

– Нет у князя в палатах, – продолжал купец громко, – бусурманских обычаев, все ведется по старине родимой...

– Да уж и то правда, – сказал кто-то, – что от нового житья подчас тошно нам приходится.

– Не так чтоб тошно, а больно, – подхватил Ермолай Иванович. – Или не жили мы прежде без немцев на Руси православной? Немец в чести и при деньгах, немцу и палка в руки, и ваш брат только ломайся на немецкий лад да гни пред немцем спину; так и берет за живое, глядя на этих проклятых!

– Правда, господин! Правда! – повторили несколько голосов. – Все по-бусурмански, легко ли дело, брей бороду, не подбивай гвоздями сапоги, тки широкие полотна, что с веку не слышать было, оставляй родимый дом да строй по *новому маниру* избу на этом болоте, чертям бы жить тут, прости Господи! Все худо, и земля-то сама как заколдованная ничего не родит.

– А разве худы, – сказал какой-то весельчак, – немецкие *огненные потехи*!

– Смейтесь! Вот уж будет вам потеха, – проревел полупьяный мужик с длинной рыжей бородою. – Будет вам потеха.

Все к нему оборотились.

– Помните ту старую ольху, что стояла у пристани возле Троицы?

– Помним!

– Знаете ли, зачем срубили ее?

– Не слышали! – кричали одни.

– Знаем, знаем! – говорили другие.

– То-то же! Предсказано смышлеными, да и отыскано в книгах церковных, что в этом году о сентябрь, к зачатию Предтечи, с моря опять нахлынет вода, всех бывалых вод выше, вплоть до маковки старой ольхи, изведет весь народ, отпавший от православия, весь город затопит!³

Толпа зашумела.

– Беда, беда! – кричали многие.

– Врет он, не раз слышали мы эти сказки, – говорили другие, – отведем его в Канцелярию к Антону Мануйловичу⁴.

– Что шумите? – продолжал смело мужик. – Уж и Писанию не верите, что ли, нехристи? Недаром в поганом вашем городе Госпожа Богородица не хотела принимать молитв ваших, и слезно сударыня плакалась, завсегда, как начнут в Троицкой обедню, да поставит кто из вас к лику ее свечу⁵.

Секретарь знал народ. Боясь последствий, он не мог долее быть спокойным: подойдя к мужику, он выхватил у него из-под руки шапку и показал ее народу.

– Видите! Желтый козырь! Да здесь же спрятан и красный лоскут, споротый со спины!⁶

– Раскольник! Раскольник! – раздалось в толпе.

– Вздор затеял ты, рыжий, – продолжал секретарь. – Знаем мы вас, мошенники: пить, грабить да народ мутить – вот ваша работа. Не по плечу выбрал себе дело. Взгляни-ка, тут у каждого в мизинце ума более, чем во всех ваших буйных головах вместе! Так ли, други?

³ В 1720 году в народе распушено было пророчество, что в сентябре вода, нахлынув с моря, подымется выше старой ольхи, стоявшей подле крепости. Многие из встревоженных жителей спешили заблаговременно искать спасения на возвышенных около Петербурга местах. Царь повелел срубить ольху и, когда виноватый был отыскан, заключить его в крепость. В *назначенный* для наводнения день пророк был строго наказан, а жителям, собранным на месте, где стояла ольха, подтверждено, чтоб впредь не верили нелепым выдумкам.

⁴ Граф Антон Емануилович Дивьер, первый С.-Петербургский генерал-полицеймейстер.

⁵ Это было тоже в 1720 году. Царя не было тогда в городе. Народ, собравшийся в церкви, начинал уже волноваться, когда шум привлек внимание шившего неподалеку канцлера графа Головкина. Он поспешил в церковь, где старался разогнать толпу, но все убеждения были тщетны. Опасаясь последствий, Головкин отправил нарочного к царю. Петр прибыл на другой день, отправился в церковь и по внимательном рассмотрении образа открыл обман. Виновные были отысканы и наказаны, а народ, которому образ был показан, успокоился.

⁶ Отличительные знаки, которые поведено было особым Указом иметь раскольникам.

В толпе послышался одобрителный ропот.

– Видели они все икону. Царь сам показывал народу этот злобный обман ваш. Видели они все, что в доске были проделаны ямки за самими глазами, куда вкладывали застылого масла. Вот так-то вы над людьми и над Богом ругаетесь!

– Не верьте, не верьте! – кричал раскольник, вырываясь из рук секретаря и сержанта, схватившего его тоже за ворот. – Зачем же спрятал царь образ Богоматери? Да куда еще? В такую *камору*⁷, что и говорить душа замирает! Там-то, там-то не весть Бог каких нет чудес и уродов, все заморское волхование и сила нечистая! А разве даром являлась над городом звезда с хвостом? Недобрый знак!

– Помним мы и звезду. Не обманешь, брат. Царь за месяц до прихода объявил об ней в народе указом, а как явилась, так собрал всех на луг близ сада, да сам, родимый, показывал и толковал каждому. Мало ль вы кричали да мудрили тогда – вот восьмой год потек, а беды не только не видали, да и, благодарение Богу, войны кончили и славный мир заключили!

⁷ Икона временно сохраняема была в Кунсткамере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.